

A portrait of Peter the Great, the first Emperor of Russia, depicted in a three-quarter view. He is wearing a dark, ornate metal armor with a prominent shoulder piece. A rich red cloak with a white fur lining is draped over his left shoulder and fastened with a jeweled brooch. He has a serious expression and is looking slightly to the right. The background is dark and indistinct.

А. ВСЕВОЛОВА

•
«Приди
сюда,
о Росс,
свой сан
и долг
узнать»
•

Анна В. Всеволодова

**Приди сюда, о Росс, свой сан
и долг узнать... (сборник)**

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=42625467

«Приди сюда, о Росс, свой сан и долг узнать...» / А. Всеволодова:

Алетейя; СПб.; 2019

ISBN 978-5-907115-11-5

Аннотация

«Эдельвайс», «Приди сюда, о Росс, свой сан и долг узнать», «Черный гукер» – исторические зарисовки, представляющие портреты наших славных соотечественников. Как и другое произведение Анны Всеволодовой «Портрет неизвестного с камергерским ключом», новые повести также являются именно нравственными портретами, а не безликими фотографиями главных героев, подчеркивая образующие эти личности неповторимые черты, оставляя в тени все наносное, незначительное, обусловленное обстоятельствами времени и общества. Так ли мы зависим от последних, как привыкли считать?

Содержание

Предисловие	5
Эдельвайс	8
Приди сюда о Росс, свой сан и долг узнать	26
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Анна Всеволодова
«Приди сюда, о Росс,
свой сан и долг узнать...»
Сборник

© А. Всеволодова, 2019

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2019

Предисловие



Главные герои повести «Приди сюда, о росс, свои сан и долг узнать», В. И. Мильков, А. М. Прокин – лица не вымышленные, наши старшие современники, ещё совсем недавно самоотверженно трудившиеся над сбережением крох прежней России, в частности – дома выдающегося архитектора и патриота П. М. Еропкина в Лопасне.

Их гражданский подвиг, как и подвиг многих лиц, чьи имена, чью славу, Мильков и Прокин желали сберечь в памяти потомков, не был почтён не только лаврами, но и долж-

ным вниманием. Эти черствость, духовная слепота, национальное беспамятство – суть самые страшные разрушения, произошедшие в организме отечества, острая боль верных его сынов. Неравная, трагическая схватка светлых и темных сил, борьба их за великую душу русского народа в местечке Рубцово, стала темой повести «Черный гукер». Усадьба Рубцове – не подмосковное имение Нащекиных, таких «рубцов» на нашей земле очень много, едва ли не каждое гнездо русской патриархальной жизни подверглось разорению и забвению. Имена героев повести изменены вследствие деликатности сюжета и обыкновенности такого рода трагедии на русской земле в начала двадцатого столетия.

Само слово «русский» относится к числу прилагательных, то есть обозначает не сам предмет, как например, «китаец», «американец», но указывает на его свойства, именно – «русскость». Это любовь к Родине, ее традициям, вере, языку, героям, верность национальной идентичности, чести и пользе своего Отечества. Такими русскими нередко становились представители разных народностей. Особенно феномен «обрусения» характерен для 18-го столетия, когда Великий Петр «прорубил окно» в Европу, а я бы добавила «и в Азию», достаточно вспомнить проникновение русской дипломатии в Персию, расширение русского влияния на восток, образование новых южных губернии Российской Империи, освоение Крыма и Кавказа, начатое в первой трети 18-го столетия.

Автор приносит признательность историкам Курукину И.

В. и Лаврентьеву А. В, чьи работы широко использовались при создании всех четырех книг из цикла «роман золотого века».

Образ В. И. Милькова (в повести А. И. Милькина) несколько романтизирован, тем не менее, в повести нет вымышленных эпизодов, хотя не все они происходили с Милькиным. Автор выражает надежду, что эскиз, который он набросал, стараясь запечатлеть личности замечательных русских краеведов, пришёлся по душе их ныне здравствующим родственникам и друзьям.

Повесть «Эдельвайс» отражает нравы и быт горных жителей Швейцарии, судьбу русского эмигранта, солдата Суворовской армии. В основу повести легли реально произошедшие события, автор ее лично знаком с потомками главного героя повести, ныне обосновавшимися в Женеве, знающими и чтущими память своего славного воинственного предка.

Итак, повести «Черный гукер», «Приди сюда, о Росс, свой сан и долг узнать», «Эдельвайс» посвящаются всем лицам, так или иначе проявившим свою «русскость». Да не угаснет память их в род и род!

Анна Всеволодова

Эдельвайс

– О тебе самого графа Суворова извещали, и знаешь ли, что тот изволил заметить? «Илья, Михайлов сын, истинную верность явил, и такие добрые его квалитеты и показанные к нам усердные службы к совершенной милости нашей могут статься». Не иначе производству твоему быть. А презент, братец, прими от меня уже теперь.

Капитан Еркулов развязал шейный платок, расстегнул сверху мундир, извлек богатый золотой складень, укрепленный на ожерелье из перлов, и повесил на пригожего молодца, стоящего перед ним.

– Полноте, барин, из чего жалуете? – отвечал Илья.

С начала похода служил он у Еркулова в денщиках и привык к совсем иному обхождению – капитан Еркулов нравом обладал вспыльчивым и грубым. Случаи, приведший Еркулова на перемену обычая своего, Илья полагал пустяшным.

Проходя над ущельем, лошадь Еркулова споткнулась и переломала себе ногу. От падения сам капитан не пострадал, но сумка его, притороченная к седлу, сорвалась. Илья, следивши полет ее, и приметя что тот окончился двумя саженьями на выступавшем из земли еловом корне, не сказавшись барину, занятому лошадыю, пополз вниз. Уверившись в полной беспомощности несчастного животного, Еркулов пристрелил его и оглянулся в поисках слуги. Не вдруг отыскал

он его.

– И ты, вслед скотине, живот свой потерять хочешь!? Болван! Вот я тебя приголублю, вылезь только! – кричал разгневанный Еркулов, а эхо многократно вторило укоризны его и смех, проходивших мимо, солдат. словно древние горные духи сошлись вместе и дружно сдвинули каменные свои кружки, покрытые сверху белой снежной пеною.

– Ах, Илья, кабы ты знал да ведал! Мне сумка эта, самой души своей милее и всего света! – говорил капитан тем же вечером в походной палатке, когда войско стало на ночлег, и он остался с глазу на глаз с денщиком.

«Как же «кабы знал», знал, да помалкивал!» усмехнулся про себя Илья. Он давно примечал, как заботливо оберегал барин суму, как, устроившись ко сну, при свете свечного огарка, вынимал тайком медальон с откидной крышечкой, любовался спрятанным под нею портретом, целовал, обвинявший дорогие черты, русый локон.

– Рад стараться! – бодро отвечал Илья вслух.

Вчера то было, или неделю тому? Илья видел прямо над собою низкие мощные балки потолка, словно в родной избе, над ним склонилось нежное страдающее лицо. Верно мать хочет напоить его чем-то теплым, но Илье не собрать силы для глотка. А ровно это и не изба его, ровно слышится пронзительный казачий визг, раздирает мозг, словно нависшие над ним скалы. Силуэты всадников несутся в зияющий пролом в каменной стене до неба. Вдруг огненный столб рвется

из пролома наружу, и наступает страшная тишина. Отбиты?
– Барабан, стройся в колонну!

Вот она уж совсем рядом – дыра. Выползающий вон дым лижет камень.

– Эка страсть – под камень заживо лезть!

– А ты веселей шагай!

– Внизу-то, глядь, деревенька. И церковь видать! А домики-то, домики, ровно теремки стоят, и ставенки все красненькие. Постоять бы там подоле, враз бы неприятеля одолели!

– Мужик ты, Митрич, и никакого солдатского нет в тебе понятия. Коли приказа не было стоять, стало и не надо. Ты приказ слушай, он тут и поп, и приход, и Священный Синод!

И вдруг из дыры сыплются на них в синем... черти? Сбоку ударили ружейные залпы.

– К стене! Штык готовь!

Илья прижимается спиной к камню, вскидывает винтовку на синего. Краем глаза видит Еркулова, тот пронзил синего и силится вырвать из жертвы палаш, вырвал.

– Казаки перевал прошли! Что стоите, братцы!? На вырубку!

Не вдруг, но вот один, другой солдат стали отделяться от стены, бежать под огнем к дыре. Синий, в которого метил Илья, не добежав до него, упал. Илья прыгает через него и летит, в самом деле летит по воздуху от сильного толчка в грудь. Обжигающий жар разливается от сердца. «Пуля

это» понимает Илья и проваливается в мягкие объятия сны, нежится в них, ровно в люльке. Мать качает колыбель, качается перед ним горница. Старый резной шкаф, здоровый, словно дубовая колода подпирает низкие потолочные доски, ножи, вилки, щипцы для орехов, всякая всячина чинно разложена по чистым деревянным полкам, занавеси с вышитыми елочками, косулями в венках развешены по оконцам — не его это горница. Льется в нее диковинный звук. Не песня он, не наигрыш музыкального инструмента, не голос механического ящика-шарманки. То нарастая, то понижаясь, одинаково пронзительный, холодный и нездешний, страшно красивый несется на многие версты, ударяясь о скалы, причудливо множась в них. Резкий сей звук и разбудил Илью. Теперь он опамятовал совершенно.

В горницу вошла девка, изрядная собою, в суконном зеленом платье, белый платок лежит на белой шее.

— Иодоль, — промолвила она, приложив ладонь к своему уху, и Илья догадался, что так она зовет диковинный голос.

Девушка прибавила тихо еще что-то, но смутилась, покраснела и вышла вон. Скоро она воротилась с плотным мужиком, одетым мещанином, и лицом схожим с девкою. «Отец» понял Илья. Мужик заговорил с Ильею на своем наречии, стараясь втолковать, что был Илья тяжело ранен в схватке с французами за перевал и оставлен на попечение жителей деревни в долине. Дочь его, Хольдрига, выходила Илью.

– Ресс, – сказал мужик, указав на своё сердце.

– Илья, – отвечал Илья.

Скоро он смог подниматься с постели, а там и помогать Рессу по хозяйству вместе с двумя другими работниками. Стадо коров в десяток голов имел Ресс и варил из молока сыр. Сперва Илье тошен был запах его. «Чисто живут, барину Еркулову впору, а вонь по горницам хуже, чем в нечищеном коровнике», но стерпел и свыкся Илья. Поначалу тешился надеждою догнать русский арьергад, но растолковал ему Ресс, что дело то недостаточное – сильно ослаб Илья, а на дворе зима, никак горы не одолеть. Пришлось зазимовать в долине, варить с Рессом сыр, слушать длинные его рассказы, тягучие, как плавящиеся струи сыра, что капали с раскаленного чугуна на ломоть ржаного хлеба и лук в тарелку Илье. Внятна уж стала ему речь гельветцов.

– Там, – указывал Ресс на север, – Хергисвиль, могила Пилата Понтийского. Никакая иная земля не хотела его принять. Воды Тибра и Роны с ревом выбрасывали труп его на свои берега, в щепы сметали стоящие на них дома, как бы прочны те ни были. Дальше и дальше шли воины со страшной поклажей, вот достигли они горного озера Хергисвиль. Покойны, холодны, небесно-голубы были его воды, точно очи невинной девы. С кротостью приняли оно тело прокуратора и смыли с души его проклятие, но с тех пор стали твориться в тех краях чудеса. Обходили стороною озеро пастухи и охотники, не то беда: случится ни с того, ни с сего гро-

за, обвал, пожар, и погибнут неосторожные путники. Тогда поняли жители той страны – то мучит их злой дух, за то, что не может он больше терзать Пилата, скрыло его озеро Хергисвиль. Тому минуло двести лет, как призвали на озеро пресвитера из Люцерна, тот служил святую мессу и окропил берега озера святою водою. Страшно завыл злой дух, взвился он высоко над берегами Хергисвиль, не находя себе места. Из ущелий, из лесной чащи, со спадающих по скалистым ступеням ледяных струи веет он своим смертоносным дыханием, стараясь одолеть всякого, кто покинуть захочет горную страну. Фёنز прозывается он на языке тех мест. Никому не уйти от него, когда, оседлав северные ветры, несется он по воздуху. Особенно страшен Фёنز ночью порой, когда добрый человек не покидает кров свои. Хохоchet Фёنز, когда видит, как охотник пытается пройти перевал, если он, Фёنز, того не желает. Срывает Фёنز тогда скалы, кидает в несчастного, и тот стремглав летит в пропасть. Но недолго смеется Фёنز – по-прежнему должен искать он себе жертву, приюта, какой обрел было в мертвом теле Пилата. Не найти ему пристанища на благословенной земле. Только смельчакам, украсившим свое ружье цветком эдельвайса не страшен Фёنز. Высоко, выше версты в небо, цветет он, но не оттого трудно его добыть. Лишь носящий в сердце чистую и верную любовь может сорвать эдельвайс. Цветок подарит ему беспримерное мужество и еще выше соделает его душу, но коснувшийся эдельвайса нечестивой рукой, погибнет. Не спасут

его никакие знахари, не защитят ничьи молитвы.

— Девушка, которой подарят эдельваис станет счастливой, — добавила Хольдрига, глянув к Илье.

А тот смотрел за окно, к перевалу. Оттуда грозил путникам Фёнз, оттуда раздалась, приближаясь, песня:

Тки, не будь упряма,
Милая Хольдрига,
Слушай мать и будь скромна,
Я вернуся скоро,

Принесу любезной
Я безделиц ворох,
Скину бархатный берет,
Только коль увижу

От порога в горы
Уходящий след,
Я ружьё украшу
Перышком кукушки

И на холм взберусь,
Милая Хольдрига,
Знаешь, как я ловок —
Я не промахнусь!

Звался певец Йохантом, и шёл он навестить свою родню — двоюродного дядьку своего Ресса. Тем же вечером, когда

Ресс с дочерью остались одни, между ними произошёл разговор:

– Что же теперь отвечать Иоханту?

– Ты обещал ему дочь, но отдал люку – всякий поймет.

– Но точно ли он дюк?

– Ты видел его ожерелье. Разве может простой солдат вздеть такое? У него орлиные очи, белые руки, а лицо нежное, как у девушки. Ясно – он русский дюк.

– Сам он говорит иное.

– Верно, ты не понял его, отец – ведь он не знает по гелльвецки. Он хочет воротиться в свою землю, но я привяжу его к себе.

– Ох, не знаю, дочь.

– Так я всё одно сделаюсь матерью его сына! А ежели станешь неволить меня идти за Иоханта, поднимусь на самую высокую скалу и кинусь вниз!

– Много глупого говоришь ты, Хольдрига. Мне прискучили твои речи. Назавтра объявлю я Иоханту своё решение. Ступай к коровам. Слышишь, как кричат они в хлеву?

Весело пошла доить коров Хольдрига – она видела, что уступил ей отец.

Скоро завалило долину глубоким снегом, трещали по ночам от жестокого морозу бревна домов и стволы елей. Ещё суровее глядели они кругом себя из смётанных на скорую руку белых платьев. Но к полудню яркое солнце топило снег. Становился он, словно по весне, гладким и плотным, таял,

тек, точно сыр, которого много наварил Ресс. Иохант вызвался свезти продать сыр в другую деревню, лежащую ниже, в двух верстах.

– Прикажи Илье помочь мне, – попросил он Ресса.

Сели в сани Иохант с Ильей. А лошадь где же?

– Сани вниз сами побегут, а лошадь возьмем как домой соберемся.

Не знал Илья верить или нет. Путь ведь не малый, гора не такая с какой ребятишки на салазках тешатся, и лесом поросла. Но под умелой рукой Иоханта сани, точно кони, чуяли волю путника. Илья и опомниться не успел, как очутились они над самым селением. Несколько могучих стволов закрывали веселые огоньки, что загорались в оконцах его – сумерки еще не настали, но тень от горы уже окутала все предметы. Встал Иохант и скинул рукавицы.

– Знаешь, зачем мы тут?

– Да забирай свою зазнобу, сдалась она мне, – хотел отвечать Илья, но показалось ему стыдным вот так просто поддаться Иоханту. Пожалуй, ославит он тогда Илью трусом. Но и драться за Хольдригу Илье было лень. Беспечно передернул он плечом.

– Разе чтобы с тобою потешиться.

Схватил Иохант из саней крепкий посошок, с заостренным концом – род трости, бродящего по крутым склонам пастуха, и к Илье бросился. Но проворно нырнул тот под оружие поселянина и вот уже отброшено оно далеко в снег, а

оба противника скатились вниз – к темным еловым стволам, под низкие мохнатые ветви. Больно ушибся Илья головою о твердые корни, потемнело у него в глазах. Шибко закачались ветви от удара, обдавая Илью морозным духом, прозвенел испугою птичий голосок:

Снова слышу под елью душистою
Тран-де-ре-ляи,
Трель певца, поползняя голосистого

«Не одолею – убьёт» подумал Илья. Собрал он все силы и толкнул вниз Иоханта. С полсажени не падал Иохант, да на беду его очутился под ним валун-камень. Силится подняться он с камня и не может – повредила кость, не ступить ему на больную ногу.

– Коня возьму и ворочусь, – сказал Илья.

Бодро зашагал он вниз. К самой ночи воротились Илья с Йохантом. Горько плакала, поджидая их Хольдрига, упрекала она отца за вероломство – не к добру Йохант взял Илью в спутники. Но увидав Илью живым и здоровым, громко вскрикнула она от радости. Не смотрит Хольдрига на несчастного Иоханта, совестится прямо глядеть и на Илью, только тихо шепчет отцу:

– Верно Фёنز покарал Иоханта за то, что поднял он руку на иноземного дюка.

Иоханта же уложили в ту самую постель, в которой больным лежал Илья. Насилу промолвил печальный Иохант:

– Сам не пойму, как оступился я на тропе, по которой бежал ребёнком.

Никогда не мог понять Илья, как сладилась его свадьба. Он не обхаживал Хольдригу, не сватался. Но назвал Ресс гостей со всей округи, наварил, нажарил всяких снедеи, отслужил поп латинскую обедню и объявил Хольдригу женою Ильи. «Стало, так быть суждено, – думал он, – зимой перевала всё одно не одолеть, да и Ресс не приголубит, коли воротит, а добром уйти и думать нечего – не пустит, уж больно приглянулся я его дочке. А девица она хоть куда, так пусть её радуется, а летом, таки уйду».

Но пришло и прошло лето, а Илья не ушёл – скоро родить Хольдриге, негоже оставить её теперь.

Какого ладного, пригожего сына принесла Хольдрига, а там и второго, и третьего! Илья разжился не хуже Ресса: дом его в два жилья строен из вековых стволов, обшит тесом, нарядно выкрашен, полон всякой всячины. Сыны его растут здоровыми и сильными, не болеют, не чахнут его коровы, только сам он заметно и скоро стал сдавать. Нелюдим стал Илья, пасмурен, только с одним Иохантом любит он беседовать, очень сошёлся с ним в последние годы. Вместе охотятся они в горах, сидят друг подле друга под елями, закусывая ржаным хлебом и сыром. Скачет над ними по смолисто-му стволу лесная пташка, звонко щебечет она в самые уши Ильи:

Снова слышу под елью душистою
Тран-де-ре-ляй,
Трель певца, поползня голосистого,

Поползень, поползень, свет мой, сахар,
Запой
Тран-де-ре-ляй!
Громче, звонче, нежней
Свой напев повторяй!

– Старший сын твои не хочет жениться осенью? Двадцатый год пошёл, – спрашивал Иохант.

– А ты за него Хейдин прочишь? Хейдин звалась дочь Иоханта.

– Почему нет? Как жена моя померла, стала Хейдин тосковать – без матери скучно ей, одна у меня осталась в доме.

– Скучно, – согласился Илья, поглядывая за горы.

Вспорхнула с еловой ветки птичка, чиркнула рядом с самым лицом Ильи, ровно в насмешку над ним, взвилась в небо и понеслась к перевалу.

Тран-де-ре-ляй!
Громче, звонче, нежней
Свой напев повторяй!

– Знаешь, Иохант, – раздумчиво молвил Илья, – хочу поохотиться один за перевалом. Ты пригляди без меня за домом.

Долго посмотрел на Илью Иохант, помолчал, принялся не спеша укладывать в сумку хлеб и сыр, коротко ответил:

– Хорошо.

Дома ждали слёзы Хольдриги:

– Осень на исходе, того и гляди Фёэнз налетит на перевал.

– Укроюсь на верхнем зимовье.

– Нет там никого – коров всех уже согнали в долину!

– Полно, Хольдрига. Настреляю козлиных шкур, отдам скорняку, будет у тебя новая шуба.

Белое, полное лицо Хольдриги осветилось улыбкой, но строги остались глаза Ильи.

«Белуга, по ней хоть умри с тоски», – думал он, глядя к перевалу. Ничего не взял с собою Илья кроме ружья, небольшого запаса пороху, хлеба с сыром и фляги вина. Не то почует неладное Хольдрига. «Дом – полная чаша, трое сыновей – совсем готовые даровые работники и Иохант скучать не даст, будет с неё. Не на цепи же в самом деле до смерти мне сидеть, хоть лягу в родную землю!» – думал Илья, прощаясь с Хольдригой. «А меньшей таки в родительницу мою лицом вышел, – вспоминал он, скоро шагая по взбирающейся круто тропе, – тоже дюком глядится. Дай ему Бог!» Радостен был подъём из долины, ни разу не оглянулся Илья на селение, в котором провёл более двадцати лет. День стоял сырой, скверный, не чета погоде, что искрилась в сердце путника. Тяжёлые ели раскачивались, как тростник, прямо над головою Ильи, обдавая его клубами тумана натягивало

тучи. К ночи Илья завернул в сторожку охотника, прозванного словно гора, Менхом. Ребятишки его, загорелые до черноты, ровно лесные орехи, посыпались будто из мешка, на крыльцо домика, обложенного кругом каменными глыбами – не принёс ли путник гостинца из долины?

– Настрелял ли чего? – спросил Менх, наливая Илье из кофейника в глиняную кружку.

Тот только рукой махнул.

– Ничто, – продолжал Менх, – назавтра Фёэнз погонит низко своих чёрных овец, примется срывать вековые стволы, переставлять горбуны-валуны, словно шахматные фигурки. А как Фёэнз уснёт, так косули хорониться перестанут.

Менх поднялся поправить лампадку, теплившуюся перед образом Божьей Матери, устроенным на подставце из рогов косули. «Скорей на перевал, пока не хватились» думал Илья, но, утомленный дневным переходом, уснул, как по команде, уронив голову на стол. И пригрезился ему странный сон, ни образ, ни звук, а только запах, ровно медовый, но с горечью и тоньше, как от свежего гречишного мёду бывает. Уже вышел Илья в путь, а дух тот всё ему чудился, всё старался Илья его припомнить. «Не мёд то был – эдельваис» догадался Илья. Меж тем, погода не унималась. Фёэнз швырял Илье в лицо своих пажей целыми пригоршнями. То были ветра с ледников Шрекхора и Веттерхора. Они приказывали Илье повернуться, стращали гневом Фёэнза, но видя, что ничего не успевают, отстали. Не мало хлебнул Илья тумана, приправ-

ленного ароматами высохшего горного луга, прежде чем достиг вершины. Присел передохнуть под деревянным большим распятием, осенявшим спуск в другую долину. Бурный летнею порою водопад, застывшим языком тускло светился в ранних осенних сумерках. Хорош, должно быть, он жарким июльским полднем» грохоча, словно вся артиллерия союзных армии. Илья живо подобрал оставшиеся в мешке снеди и поднялся. Челядь Фёнза, выскочившая из ледников, таки не позволила ему начать спуск раньше сумерек. А спуск – самая трудная часть пути – северный склон горы уже там и тут белеет обманчивою белою прикрасой. Под нею лёд, расщелина, валун или даже смерть. Прежде чем сделать шаг, нужно вырубить ступеньку, прыгать с одного прочного местечка на другое, вовремя хвататься за колючие еловые ветви, ежели потребуется, остаться на них до утреннего света, пока не смилуется Фёнз, не отзовет челяди своей в ледяные чертоги. Всё это не раз проделывал Илья, но пронеслось над ним много зим, теперь он не проворнее белки, не выносливей козули, что взбирается неутомимой к самому небу. Не повернуть ли пока не стемнело совсем к Менху? А что ежели Илью уже ищут, что ежели в ту минуту, как он стоит, раздумывая у креста, Менх указывает его следы? Пойдут крики, свары, толки, срам по всей округе – добром Хольдрига не пустит. Да разве мало пропадает без следа, гибнет по горам стрелков? Нет – и концы в воду! Скорее, скорее!

Илья поклонился распятию, испрашивая благословения,

и заметил, приютившийся между камней, белый цветок. Эдельвайс!? Здесь, в исходе осени?! Илья нагнулся ниже и убедился, что цветок спит чудесным сном, непохожим на смерть своих собратий. Словно заморожены были узкие его лепестки, а медовый дух, едва различимый, всё же веял от них. Эдельваис не вянет, не гниёт, как прочие цветы. Возвращённый на краю вечных льдов, засыпает он, оставаясь по-прежнему чистым, белым, ровно замерзает, и не насмерть! Сорвать сей цвет смеет лишь тот, чья любовь столь же чиста и высока, напоминает свойством своим эдельваис, попирающий смерть, повергающий её вниз – на дно ущелья, над которым расцвёл. Илья хотел было примостить цветок за тулью шляпы, но ветер с новой яростью охватил его, словно поражённый такой дерзостью. Спрятал Илья цветок в суму свою, плотней подтянул ружьё, взял в руки ледоруб и начал спуск. А ветер всё крепчал. Фёнг гнал вперёд уже всё своё войско. Вихрь охватывал и справа, и слева, и с неба, и из сияющей рядом с тропею расселины. Илья видел, что вполне окружён, и Фёнг разгневан не в шутку. Скоро ноги уж не могли служить надёжной опорой, ледоруб стал выскальзывать из усталых пальцев, тьма сгущалась с каждой минутой. Илья сошёл с тропы, перебрался к чернеющим, уходящим в ночное небо исполинским колоннам, скрылся в складках тяжёлого елового балдахина – роскошная постель. «До рассвета тут стану сидеть» решил Илья и вытащил флягу. Ещё яростнее закричали фёнговы слуги, потерявшие из глаз одинокого путника.

ка. Двухсотлетние стволы со стоном кренились перед ними, и вдруг замерло всё и затихло. «Теперь пропал – сам Фёэнз пришёл» понял Илья. Точно разом выпалили сотни орудий. Не капли дождя, не горошины града, не снежные хлопья обрушились на деревья, осмелившиеся приютить беглеца – каменные глыбы, срываясь с исконных мест своих, летели по воздуху. Треск пошёл по лесу, а из ущелья выли, хохотали, стонали слуги Фёэнза. Точно колом кто ударил Илью между лопаток, и грянулся он с силою оземь. «Как тогда, пуля словно». Злые голоса визжали из ущелья, а над ними, клёкотом хищной птицы кричал Фёэнз:

– Ты мои – ты сорвал эдельвайс!

– Я взял своё, – возразил мысленно Илья.

– Только чистый любовник может назвать эдельваис своим! Взгляни в своё сердце, ты знаешь его!

– А ты – нет, – снова возразил Илья, – Я любовь свою берёг двадцать лет и за неё теперь голову сложил. Понюхай мои эдельваис – так Русь пахнет!

– Ты мои, мои навсегда! – бесновался Фёэнз, но вдруг раздался другой крик, ровно петушиный. Страшно испугался Фёэнз, метнулся прочь с горы, провалился в ущелье вместе с челядью своею и затих.

Глянул Илья в ту сторону, откуда словно петухом кричал кто, и увидел светленького, сухенького старичка, в белом казакинчике, празднично причёсанного, с богатой тросточкой в жилистой, тонкой ручке. Илья тотчас узнал его.

– Илья, Михайлов сын, такие добрые твои квалитеты и усердные к нам службы к совершенной милости нашей могут стать.

Приди сюда о Росс, свой сан и долг узнать

«Приди сюда, о Росс, свой сан и долг узнать».
(Мерзляков)

Бывают года, в которые все признаки зимы отступают в самое короткое время. Неприметно одеваются зеленыю кусты и деревья, вырастает молодая трава, весна является во всем, что ни дышит. Такою выдалась нынче дружная весна в Лопасне. Школьный бедный сад населился певчими птичками, зорьками, малиновками, любившими старые смородинные и барбарисовые кусты, вечерами уж пели соловьи. В тесной учительской комнате, наполненной тиканьем старых стенных часов и теплым светом, лившимся из отворенного окна, положив руки на лежащий перед ним открытый журнал, сидел средних лет миловидный человек, учитель Милькин Алексей Ильич. С особенным чувством наслаждения, знакомым лишь глубоко любящим родную природу в самой скромной простоте мельчайших черт ее, глядел он за окно. Всякий год видел он те же знакомые деревца, чьи тонкие ветки выглядывали ласково на него, и всякий год также щемило сердце, также волновался ум. Бог весть отчего это происходило, тем не менее, удовольствие, которому, по-видимому,

предавался Алексеи Ильич было повито грустным, нежным чувством. Словно что-то звало за откинутую ветром раму и дальше, в клейкую, ароматную зелень, и выше, над нею, ныряя по струящемуся незримому пути – в небо.

Все кругом казалось юно и счастливо. Алексею Ильичу чудилось, будто и он юн и счастлив. На какой бы предмет комнаты, до последней мелочи знакомой ему, не обращал он рассеянный взор – на всех лежал отпечаток радостного ликования. Грубые, сухие листья кактуса гляделись нежными и свежими, самый гипсовый бюст Ульянова-Ленина представлялся забавным китайским болванчиком, с раскосыми щелями на место глаз, с идиотической ухмылкой. Милькин опустил взор от болванчика в журнал, и записал эпитафю давно задуманного сочинения.

«Чело венчанное Россия подняла;
Она с тех дней цвести во славе начала.»

(Херасков)

Он перевернул страницу и озаглавил другую: «Вступление».

«Станет ли и тысячелетия чтобы петь мужество героев, коих благородная кровь принята была русской землей с большею любовью и благоговением нежели приняты бывают драгоценнейшие рубины и гранаты рукою знатока-ювелира, ибо никогда с такою пышностью и быстротою не произво-

дила она еще плодов столь сладостных: законодателей просвещенных, гражданского порядка, чудес гения художеств и наук, победоносных воинов. Никогда мертвый камень, пусть самый яркий среди блистательного своего семейства, никогда рука мастера, пусть самая искусная среди изумивших любопытное человечество, соединившись, не могли представить ничего подобного сему фейерверку, сей игре света! Он порожден был не отточенными гранями и прихотью луча, но человеческою творческой мыслью, силою высокого, доблестного слова, нрава, служения. Золотой век гордого росса, ты вырос из почвы, удобренной божественною влагой»!

Рука Алексея Ильича все быстрее ходила по бумаге, иногда перечеркивая и поправляя написанное, но ни на миг не останавливаясь:

«Сентября 10-го дня

Приехал в Царицын. Волга, во всей славе своей, раздвинув берега, спешит погрузиться в море, до коего отсюда не более пятисот верст. Коли все съестные припасы были бы так дешевы, как рыба здесь, то нигде бы в свете нельзя было найти такой дешевизны. Иногда бывал в Отраде. Всякому месту, куда отлучишься из Царицына, должно бы называться сим именем, потому как скука худого строения и общества города превосходят многие, мною виданные. Первые лица (что же желать от низших после того) только и делают, сошедшись вместе, что кого-нибудь пересуждают, несмотря,

что они сами заслуживают осмеяния. Скупость, мотовство, зависть, карточные игры, ревнивые мужья, неверные жены, ветреные любовницы и любовники — вот что нашел я там, где думал сыскать честное приятельство и доброе обхождение. Щастие представляют себе инако, и всякий в особливом виде. Я сообщу несколько слов, как легковверный искатель щастия обманут бывает: всякая ласка, приятный взгляд его восхищают, по присловью русскому «дурак и посулу рад», утешаем бывает он одною пустою надеждою, полагая покой свой и довольство в предметах преходящих, и конечно, обманывается. Сие щастие не может быть долговременно. Нынешняя любовь, к примеру, весьма далека от любви наших предков. Многие женщины нашего века не почитают преступлением одного любить и шестерых обманывать и говорят, что истинная любовь требует от любовника веры, или слепой доверенности, то есть видеть и быть слепу. Ныне так и поступают: притворяются, будто во всем верят своим возлюбленным и уважают их скромность, хотя думают совсем противное. Кавалеры попускают себя, как искусные министры, обманывать для того только, чтобы способнее изведывать обстоятельства. Отсюда произошло множество неприятностей в жизни партикулярной и семейной, а по совести, каких ждать от сих лиц свойств и в службе гражданской. Худое от них и дружбе и службе. Угождатели переменчивому кумиру суетного щастия, взвесьте ж свои дела на весах беспристрастия, вы увидите, сколь они бесстыдны и сколько

вы заблуждаетесь! Увы, обманывающийся обманщик сам закрывает себе уши, чтобы таковою глухотою оградится от едва различимых стонов совести своей. Не то нашел я в Отрадном, истинно верном своему имени! Село Отрада принадлежит бригадиру Аничкову, женивгпемуся на г-же Бехтеревой. Это приятнейшие люди, коих имена я всегда сохраню с благодарностью в моей памяти. Внимание их простиралось не только на все возможные ласки и угождения, но даже предупреждало мои прихоти. Они имеют дар одолжать людей, с такою приятностию, которая превосходит и самое одолжение. Сердечная дружба соединяет сих щастливых супругов. Кажется самая челядь разделяет сие невинное и лучшее из удовольствий земных. В доме не слышно склок и наушничанья, а во всех палатах, хотя не богатых, чувствуется особый прибор. Я расстался с Аничковыми с чувствами истинной приязни.

Сентября 11-го дня

До выезда на Москву, я шел с собаками по полям любезного бригадира, затравя волка и нескольких степных зайцев. Мне особенно думалось во время охоты, как то нередко со мною бывает, так что, воротясь к себе, сел писать, а нечто и рассудил отослать знакомцам. Писал к господину N. Между прочим, не умолчал и о «московском обхождении», коего память снова тревожат. Впрочем, потаенно, чтобы, буде N Салтыковых отложился, прямо ничего сыскать неприятели

за мною не могли:

«я зело сумнителен, чтобы не сделалось вместо одного самодержавного государя десяти самовластных и сильных фамилии, тогда горше прежнего идолопоклонничать и милости у них всех искать, да ещё и сыскать будет трудно, понеже ныне между главными как бы согласно ни было, однако ж впредь, конечно, у них без раздоров не будет, и так, один будет миловать, а другие, на того злобствуя, вредить и губить станут. Из своих интересов будут прибирать к себе из мелочи больше партизанов, и в чьей партии будет больше голосов, тот что захочет, то и станет делать, и кого захотят, того выводить станут; а бессильный, хотя бы и достойный был, всегда назади оставаться будет. Народ наш наполнен трусостью и похлебством, для того, оставя общую пользу, всяк будет трусить и манить главным персонам для бездельных своих интересов или и страха ради, — и так, хотя б и вольные всего общества голоса требованы в правлении дел были, однако ж бездельные ласкатели всегда будут то говорить, что главным надобно. А кто будет правду говорить, те пропадать станут. Токмо ежели и вовсе волю дать, известно вам, что народ наш не вовсе честолобив, и для того, если некоторого принуждения не будет, то, конечно, и такие, которые в своём доме едят один ржаной хлеб, не похотят через свой труд получать ни чести, ни довольной пищи, кроме что всяк захочет лежать в своём доме.

Итак, прежде прочего, должно самую душу народную,

вкупе от шляхетства до последнего поселянина, всячески нудиться возвышать, дабы взыскивали славы Божия и отечества пользы..."

Дверь стукнула, Милькин бросил рукопись в портфель и поднялся навстречу директору школы. Тот сунул перед лицо его смятую тетрадь, что держал в руках и ткнул в испещренную круглым детским почерком строку красным пальцем:

«L'homme vit par son âme, et l'âme est la pensée».

– Так ведь то старый добрый Антуан Тома, – улыбнулся Милькин, – прозаик и поэт, родился в 1732 году, умер в...

– Умер и хорошо сделал, – перебил директор, – в советской школе не место таким прозаикам и тем, кто их пропагандирует.

– Но он не писал о Боге, он один из так называемых "просветителей", даже Кондильяк...

– Я не знаю и знать не хочу никакого вашего Кондильяка! "Не писал о Боге"! А что значит "l'âme" по-вашему?

– Душа.

– Так это то же, что и Бог!

– О, нет, вы очень неправы! Конечно, душа человека сотворена по подобию Божию, однако сущность души находим и у животных, и у растений...

– С меня хватит! То, что вам поручено преподавание французского языка советским детям, не означает... не означает поповского балагана. Великая Октябрьская революция, биография Владимира Ильича Ленина, праздник

труда, мало ли нужных и полезных знания можно доставить ученикам?! Даже таким, казалось бы, никчёмным предметом, как ваш – французским.

– Понимаю. Буду стараться.

– Вы и прошлый раз говорили то же, а вот снова! – директор, отдуваясь, потряхнул тетрадь.

– Теперь вы все мне разъяснили, а прежде я слишком узко понимал ваши слова.

– Если теперь вы опять чего недопоймете... – директор сердито отвернулся, не кончив фразы, и покинул учительскую.

Милькин, выждав минуту, проворно подхватил парусиновый портфель, покрыл голову соломенной дешёвой шляпой, толкнул дверь и сбежал с крыльца.

«Не знаю, где присяду, что стану думать, но жажду воротиться к этому нравственному состоянию. За весь холод и одиночество своей жизни отогрелся я в подвале чудного сего дома! Ах, да дадут ли ещё нынче в него спуститься?! Жена скажет тотчас, как взойду – «к столу», сосед спросит примус, сын станет рассказывать о футболе. Давеча, холостой брат писал мне «ты счастлив, потому что имеешь сына». Положим, я точно счастлив, но не оттого, что имею сына. Впрочем, он добрый мальчик, а только живёт в ином мире, не в том, в котором я. Один только Прокин меня умеет понять, а если бы и не так, от того ничто бы не изменилось. Как странно – ещё двух лет не минуло, как все это случилось, а кажется

то прошлое, что было прежде далеко-далеко и землей поросло. Жена давеча говорила: «Сколько можно вам о Еропкине и друзьях его, доме, вотчине говорить – он умер давно, нет его».

– Если его нет, так значит и меня нет, а раз я существую, он – тем более, – хотел отвечать ей, но не стал – только браниться».

Самой острой болью Милькина была несчастная судьба Садков – красивейшей части уникального архитектурно-паркового комплекса Подмосковья. Семья Милькиных жила в усадебном доме в Садках, превращенном в общежитие, очень любила и дом, и его окрестности, здесь ещё можно было любоваться остатками прежней роскоши. В парке, пересекаемом рекой Лопасней, частично уцелели прежние садовые «затеи»: беседки, павильон, колоннада (в виде искусственно сооруженных руин), копаные пруды, двухэтажное здание бывшей богадельни в готическом стиле; псовый двор в виде миниатюрной средневековой крепости (разобран), обширный конный двор. В 1926 году следы варварства победителей России видны ещё были, – бродя по берегу реки, вы натыкаетесь то на руку, выглядывающую из земли, то на женский торс, то на античный профиль мужской головы...

Древнейшее упоминание о Садках связано с походом хана Девлет-Гирея на Москву в 1572 году. И только с укреплением государства Садки превратились в тихую провинцию, где возникали уютные фамильные гнезда.

Находился этот райский уголок рядом со старинным торговым селом Лопасня. Перед мостом через реку – поворачивали влево. По высокому левобережью и шла дорога к Садам. Жаль, что теперь сюда по берегу не пройдешь. И старая дорога, и самая усадьба разрезана на куски. На высоком берегу Лопасни стоит старинный деревянный дом на белокаменном цокольном основании, выложенным подмосковным известняком. Нижний полуподвальный этаж имел семь окон. Широкий размах фасада обращен в сторону парка, который спускается под гору (к прудам и реке) от небольшого партера. Одиннадцать больших высоких окон, образующих выверенный ряд и глядящих на реку, разбежались по фасаду в строгом ритме. Венчает усадебный дом мезонин в три окна. Над ними под самым коньком овальным полумесяцем врезан слуховой проем. В первозданном виде дом блистал ослепительной белизной побелки...

Рядом с домом – церковь Иоанна Предтечи. Древняя деревянная церковь с тем же названием была сожжена ещё крымскими татарами.

Пруд между домом и рекой лопасненцы называли Долгим. Вокруг росли раскидистые ветлы и вязы. Вязы погибли, как везде в Европейской части России, а ветлы продолжают радовать глаз. В стороне от Долгого пруда – почти квадратный Большой пруд. Между ними над канавой – перекопом (имелся там искусственный ручей и изящные желоба) построили ажурные мостик».

Теперь Большой пруд отделен от пруда Долгого и всего садковского парка современной изгородью. И это вызывает чуть не слезы – ещё одна жемчужина Лопасни по живому, без наркоза, разрезана на куски ее «новыми хозяевами»!

В первой половине XVII века Садками владели Бибиковы, получившие эти земли по указу Иоанна Грозного. В 1640 году здесь появился первый представитель дворянского рода Еропкиных – Серпуховской воевода Григорий Андреевич Еропкин, женившийся на вдове Аксинье Бибиковой. С этого времени и до середины XIX века Садками владели Еропкины. Среди них был и стольник царя Петра I, и племянник умиротворителя московского «чумного бунта» 1771 года. При Еропкиных в первой трети XVIII века был построен дом в Садках, разбит парк, выкопаны пруды. В 1771 году освятили каменный храм Иоанна Предтечи. Рука неординарного мастера в планировке усадьбы видна и сегодня – при всей запущенности паркового хозяйства.

Самым знаменитым представителем рода Еропкиных был, конечно, Петр Михайлович Еропкин – архитектор, создатель плана Петербурга, по которому город развивался 300 лет. В 1740 году его казнили по приказу Бирона, фаворита императрицы Анны Иоанновны. Это факт известный, но даже 300-летнии юбилеи великого градостроителя отметить позабыли.

В Садках архитектор П. М. Еропкин безусловно бывал, но лично ему принадлежало соседнее село Кулакове Василии

Михаилович Еропкин (последний представитель этого рода, владевший Садками) мог бы стать героем романа. Он участвовал в военных кампаниях 1828и1831 годов, а потом и в Крымской войне. Отличился при обороне Севастополя.

Следующими владельцами Садков стали Рюмины. Они основательно переделали дом в 1872 году. Сохранилось немало фотографии, где «фасад дома акцентирован четырьмя колоннами, поставленными на белокаменное крыльцо». Крыльцо глядело на реку и пруд. Портик был снесен. На уровне мезонина появился балкон.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.